

Раздел I.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА И ТЕХНИКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

УДК 94(100)084.1

И. В. Аладышкин

«БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА». О ВОЙНЕ И «НЕПОРОЧНОЙ» ТЕХНИКЕ

Обращаясь к технико-технологическим аспектам Первой мировой войны, сталкиваешься с огромным массивом научной литературы, посвященной, казалось бы, всем мыслимым темам: от обустройства полевой кухни до реорганизации государственной системы производства. Столько раз ставился и разрешался вопрос о влиянии этой войны на весь ход развития «индустриальной цивилизации» и ее промышленной сердцевины. Однако перечень технических достижений и технологических нововведений, бесконечные цифры боевых единиц и таблицы показателей оборотов производства оставляют в тени другой вопрос – как повлияла война на общее понимание техники, на сам ее образ в глазах современников тех событий. Кажется, история восприятия и концептуального выражения технической реальности начала века как раз из ряда тех проблем, что слабо сопряжены с военными реалиями [13]. Если исследователи, писавшие о первом мировом военном конфликте, и затрагивали данную проблему, то лишь вскользь, освещая ее по накатанной колее «возраставшей роли техники в жизни общества», либо того ужаса, что сеяло новое оружие на земле и на небе. С «ростом» и «ужасом» спорить, конечно, не приходится, но вряд ли ими ограничивается диапазон вариативности восприятия и оценки. Ведь общий характер «конкретных мнений» определялся не

столько текущими военными событиями, сколько глубинными и куда более продолжительными трансформациями представлений о технике и техническом праксисе.

«Приоткрытая» в своем единстве и значении техническая реальность в начале прошлого столетия действительно поражала своими масштабами, но отнюдь не вселяла страха и ужаса. Вызванная войной фрустрация, сопрягаясь с надломом устоев новоевропейской культуры, практически не затронула ее технических оснований. Прежние техницистские установки словно остались вне той тяжелой духовной атмосферы сомнений и разочарований. По завершению военных действий на повестке дня вновь значились многообещающие перспективы технического прогресса с терпким привкусом научно-технического оптимизма. Словно не было мировой военной катастрофы, очевидной милитаризации технической мысли и практики, будто не появилось оружие массового поражения и всех тех, соревнующихся в размерах и мощи «машин смерти», что превратились в своеобразный символ «европейского самоубийства».

В преддверии XX века П.К. Энгельмейер издал небольшую книгу «Технический итог XIX столетия» [1]. То была апология, торжественный гимн техническому прогрессу. Техника представлялась как единственный и всеспасительный путь развития России и мира в целом. Уже перед самой войной, в 1911 году, на IV Всемирном философском конгрессе, состоявшемся в Болонье (Италия), отечественный мыслитель в одном из своих докладов описывал «империю техники» и доказывал, что последняя восходит к человеческой воле и внутреннему стремлению человека к техническому творчеству [2, с. 85]. Изменила ли война отношение П.К. Энгельмейера к технике и природе технического праксиса? Отнюдь, техницистские установки мыслителя только усилились. За год до войны уже немецкий инженер-химик Э. Чиммер в своей книге «Философия техники» воспевал последнюю в неогегельянской интерпретации, как проявление «материальной свободы». Изменения содержания книги в ее последовавших послевоенных переизданиях не затронули общего оптимизма оценок [3, с. 189–223]. Война не поколебала веры в техническую «добро-

детель» с новым «техническим» способом бытия человека и, наверное, самого известного философа техники тех лет – Ф. Дессауера ¹[4].

Возможно, отвлеченные философские построения инженеров (П. Энгельмейер, Э. Чиммер, Ф. Дессауэр не были профессиональными философами) в какой-то степени отражали чаяния научно-технических специалистов, но были далеки от настроений, царивших в обществе, пережившем войну? Действительно, представители профессиональной философии и многие публицисты, касавшиеся проблем, так или иначе связанных с техникой, были не столь безоговорочно оптимистичны, но это характерно и для довоенного периода, а некоторая послевоенная подавленность настроений была вызвана отнюдь не технической экспансией. В то же время даже консервативная линия оценки техники, для которой последняя всегда была недобрым знаком тлетворных социокультурных трансформаций и принималась с известной долей скепсиса, тяготела скорее к смягчению своего критического настроя. Среди отечественных критиков технических реалий тех лет, вспоминают, как правило, Н. Бердяева, будто бы одного из первых мыслителей, кто выступил с чуть ли не экзистенциалистских по духу антитехнических позиций трагического «разложения» природы и человека «властью машины». Так, тот же Бердяев в подводящем своеобразные итоги войны сборнике «Судьба России: опыты по психологии войны и национальности», увидевшем свет в 1918 году и носившем неоконсервативный характер, буквально встал на защиту техники. По его мнению, машина и ее победоносное шествие так же духовны по своей природе, как и самое прекрасное органическое проявление жизни: «Сама машина есть явление духа, момент в его пути»[5, с. 238]. Восприятие Бердяевым феномена техники изменится позже, уже к середине 20-х годов, когда с ее «победоносным шествием» русский мыслитель будет связывать многие трагические тенденции в истории XX века.

Об отношении широких слоев населения к текущим технико-технологическим трансформациям говорить довольно трудно, но примечательно то, что фронтовая паника от первых встреч с монструозными боевыми машинами так и оставалась в окопах и редутах, а страх воздуш-

¹ Подтверждение тому не трудно найти в его работах «Техническая культура?» (1908) и «Философия техники» (1927)

ных бомбардировок жителей Лондона с окончанием войны сошел на нет без каких-либо проекций на всю авиацию. Некоторая курьезность предположения подобных массовых фобий не отменяет того, что со значительной частью технических новинок человек сталкивался впервые, а это должно было усилить и действительно усиливало впечатление. Может быть, недоставало разрушительной мощи? Отчего страх и паника редко приводила к дискредитации техники и технико-технологического развития, не порождая массовой технофобии, как во времена холодной войны? Движения того времени, схожие с луддистским индустриальным саботажем, не в счет, как впрочем и традиционалистская критика. Антитехнизм подобного рода сопряжен не столько с негацией технического, сколько с противостоянием определенным социальным порядкам и практикам, а техника фигурировала лишь в ряду иных символов неприемлемого производственного либо общекультурного обновления.

Почему Первая мировая война, перекроившая карту мира и ставшая потрясением для современников, не убавила веры в технические перспективы? На рубеже столетий кризисное мироощущение проходит ряд этапов в своем развитии, остро реагируя на многообразные проявления социальных, экономических, политических и других противоречий. И если оно апеллировало к форсированному технологическому росту, то опиралось отнюдь не на реалии Первой мировой, а на социокультурные порядки. В согласии с заветами прошлого столетия технические противоречия понимались, исходя преимущественно из биологических и социокультурных параметров, на которые и переносилась вся ответственность. Примечательно, что в художественной литературе, отражающей настроения широких слоев населения, техника, если и выступала злым и недобрым началом, то лишь по вине человека, или же сама ситуация служила аллюзией социальных противоречий, как в небезызвестной пьесе К. Чапека «Р.У.Р.» (Россумские универсальные роботы), в которой восстание роботов иллюстрировало социальную борьбу трудящихся.

К началу XX столетия индустриализация охватила все ключевые отрасли экономики ведущих стран, поступательная технизация в корне меняла привычный облик жизни общества, приводя к наглядной интеграции техники с любыми аспектами существования людей. Технологические формы социальной организации пронизывали все сферы деятельности,

подчиняемые соответствующим социально-нормативным, аксиологическим, пространственно-временным регуляторам [6, с. 42–44]. При этом феномен глубинной технической трансформации социума оставался неотрефлексированной очевидностью, основания которого были скрыты прежними утилитарно-производственными параметрами.

Те стремительные социокультурные изменения, что во многом и были ответственны за разрастание кризисных умонастроений, редко связывались с технологическим ростом, так как в трактовке техники господствовали инструменталистские подходы. Проступившие во второй половине XIX столетия очертания нового дискурса техники, дарующего последней автономность и превосходство, еще не обрели отчетливого выражения. Такие мыслители, как П.К. Энгельмейер, еще в довоенный период качественно расширявший концептуальное содержание природы техники, были исключениями, чьи взгляды не оказывали существенного влияния на общие установки. А получившая некоторое распространение на исходе XIX века теория органопроекции (Э. Капп, Л. Нуаре, А. Эспинас) не внесла принципиальных изменений в образ техники как своеобразного продолжения человека. Поэтому она выступала, скорее, следствием, нежели причиной социокультурных трансформаций. С техникой могли связывать и связывали их ускорение, но лишь в качестве средства ускорения.

Инструментально-орудийное отношение к технике и на войне полагало ее всего лишь орудием убийства в руках человека, и не важно, в каком качестве оно выступает: техника ведения боя или пошива амуниции, винтовка или навыки стрельбы из нее. Характер военных действий усиливал идеи о решающей роли техники, но отказаться от прежних представлений о войне и человеке довольно трудно. Это требует времени и техницистские установки отеснялись более традиционными взглядами, успокаивавшими тем, что «как бы не совершенствовалось оружие, как бы не возрастало его влияние, оно никогда не заменит человека, ибо человек есть главное оружие войны и без человека никакое оружие не может приобрести какого-либо значения». С противоположными же взглядами «...надо бороться, как с опасной и к тому же страшно прилипчивой болезнью, а свойства оружия использовать так, как это делал Суворов, – в помощь человеку, помня, что оно увеличивает силу человека и его порыв при наступлении и дает ему возможность вести более упорную оборо-

ну»[7, с. 409]. Собственно, генерал-лейтенант А.К. Байов, непосредственный участник Первой мировой и автор приведенных строк, выразил расхожее отношение командного состава к техническим инновациям.

В историографии той великой войны анализ именно технического потенциала воюющих сторон занимает одно из ключевых мест. Давно стала привычной констатация «переворота» представлений о войне в силу если не революции, то качественного изменения вооружения. Но тогда, в годы войны, о ней думали иначе.

Например, в очерках о войне Л.Д. Троцкого есть примечательная иллюстрация технического скепсиса тех лет, когда он не без сарказма пишет о «борьбе» французов с немецкими заграждениями колючей проволоки: «Мы присутствуем при удивительном зрелище, когда целую нацию в век авиации оцепили невысокой путаной изгородью из проволочных шипов, — и эта многомиллионная, стоящая на высоте технической культуры, нация не может ничего выдвинуть против жалкой проволоки, кроме... простых ножниц, которые приходится пускать в ход, ползая на брюхе»[8, с. 189]. Для весомости своих слов о проволоке и ножницах, как важнейших факторах мировой войны, Троцкий ссылался на французского писателя П. Ампа, который в досаде от сложившегося положения пришел к выводу, что это война, которая ничего не изобретает, а та цивилизация, которая, несмотря на всю науку, возвращается к борьбе при помощи ножа первобытных эпох, духовно исчерпала себя. Написано это было на второй год войны, которая позже явит миру не одно изобретение, но опять же не определяющего характера, не поражающего воображение. Свет увидят вполне предсказуемые результаты военно-технической мысли и практики. Да, не в них дело, ведь, как и появившиеся чуть позже танки, они были лишь своего рода «украшениями» колоссальной войны.

Не удивительно, что просматривая военные дневники и воспоминания участников боевых действий, редко можно встретить заметки о новом оружии и какой-либо значимой его роли. Командующий состав рассуждал о государственной политике, о духе нации, о принципах военного дела, а о военной технике, остававшейся в тени иных вопросов, все вскользь и мимоходом. Низшие чины армий, рядовые клеймили противника, изолгавшееся правительство, бездарное командование, погодные условия, все что угодно и кого угодно, о технике же они вспоминали в последнюю

очередь. Если же она и оценивалась, то опять же опосредованно, через удивление витиеватости инженерной мысли, брань на поставщиков, фабрикантов, все то же правительство. Причем мало кто безраздельно полагался на технические новинки, да и мысли были о другом. Будучи русским артиллерийским офицером на австрийском фронте, Ф. Степун мечтал о будущем религиозном преобразении общества, а капитан английского пехотного полка Г. Рид размышлял о перспективах социализма и проблемах личности [9]. Далекие от подобных преобразений и высот рядовые массы в мыслях о мирной жизни надеялись все-таки на изменение курса политики и стабилизацию экономики, как минимум, на сохранение и возвращение довоенных порядков. Однако мало кто задумывался о технической революции и техническом совершенствовании общества. Постулаты технического детерминизма были уделом очень незначительной части военных специалистов и промышленников (отстаивавших свой продукт), а широкое осознание принципиально новой роли техники в войне пришло уже в послевоенные годы.

В любом случае техника виделась все-таки на втором плане, полагалась нейтральной и отнюдь не самостоятельной силой и за редким исключением принималась, как и прежде, в качестве пассивного орудия. Деструктивная природа человека, порочные политические режимы, культурная порча и все мыслимые социальные изъяны – вот что определяло в глазах людей того времени разрушительный характер технических достижений, порождало все более изощренные и эффективные технологии смерти. В крайнем случае, порождаемое техникой социальное зло объясняли ее исторически обусловленным несовершенством, слабостями ее конкретных форм. Скепсис не обращался непосредственно к технике, к ее природе, так как та была лишена каких-либо самостоятельных, автономных начал и обуславливалась внешними биологическими, антропологическими и религиозными порядками.

Вместе с тем, война, в которой техника стала чуть ли не главным козырем, оказала той неоценимую услугу, привлекая к ней самое пристальное внимание и выводя ее на поверхность научного и общественного сознания. Ранее вопросы природы техники, специфики ее развития и положения в обществе редко выходили за довольно узкий круг технических специалистов. Мыслителей, обратившихся к ней вне собственно техниче-

ских параметров и прикладных производственных проблем, можно было перечислить по пальцам. В послевоенное время о технике пишут публицисты и философы, историки и социологи. Формируются отдельные школы и направления ее анализа, множатся обобщающие концепции и к технике подходят уже с различных концептуальных позиций: культурно-исторических (Ф. Дессауэр, Т. Литт), социологических (В. Зобмарт, Х. Шельски) феноменологии (Э. Гуссерль), философии жизни (А. Бергсон, О. Шпенглер), экзистенциализма (К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер), философской антропологии (А. Гелен, Г. Плеснер) и др.

Война буквально расчищала путь технике в сознании современников. Идеалы разумности и гуманизма не выдерживали натиска противника. Они были бессильны в объяснении газовых атак и миллионных жертв, уступая место иным, куда более «прочным» идеалам. Превращение техники если не в идеал, то в один из непреложных ориентиров социокультурного развития – довольно длительный процесс, и Первая мировая война, как некогда индустриальная революция, стала ключевым моментом в его ускорении. Огневая мощь давила иные надежды и высшие смыслы, давила уже не столько руками человека, сколько все более изощренными устройствами и механизмами, утверждая техническое превосходство, нелицеприятное, но подчас столь очевидное превосходство техники над человеком, над всем живым. Она казалась мощней, надежней и быстрее, а главное, демонстрировала поражающие воображение перспективы, переносившиеся уже на самого человека. От «помощи», от «увеличения силы человека», о которых писал А.К. Байов, не так далеко и до технического усовершенствования.

Когда Природа, Бог, иные высшие порядки уже утратили свою определяющую силу, «Человек» оставался последним препятствием на пути возвышения техники. И Первая мировая война, как ничто иное, преуспела в расшатывании прежней веры в обретенную меру всех вещей. Начало антропологического кризиса, или кризиса человеческого существования, принято отсчитывать с конца послевоенного десятилетия, но переломным моментом в нарастании подобных настроений следует все-таки считать Первую мировую войну. Лавинообразно нараставшие в первую четверть прошлого века ощущения опустошения, потери идеалов, стабильности, цельности существования к 20-м годам, все ближе подбирались к их первоисточнику. За упадком культуры, крахом цивилизации, за социально-

политическими антагонизмами различали распад того образа человека – «творца», каким его видели еще совсем недавно, в XIX столетии. Не случайно именно после войны представление о том, что техника есть всего лишь средство в руках человека вызывала все больше нареканий с самых различных углов интеллектуального пространства. Неотомист Ф. Дессауэр и экзистенциалист М. Хайдеггер, историософ О. Шпенглер и социолог А. Гелен видели технику в качестве самостоятельного феномена, первичного по отношению к обществу и человеку, который «выдан» технике, «востребован» ею.

Война преумножала сомнения в самопровозглашенном «венце творения» и его идеалах, в его ценностях и культуре, из-за устоев которой, по словам Л.М. Лопатина, «выглянуло на нас такое страшное звериное лицо, что мы невольно отвернулись от него с недоумением»[10, с. 2–3]. В одном сомневаться не приходилось – в технике, которая, если и вызывала нарекания, то опосредованно, через того же человека, что оказался виновен во всех мыслимых грехах, но, прежде всего, в собственном неразумии. Это человек убивал и на том наживался, это он держал винтовку и штурвал самолета, открывал газовые баллоны и натягивал колючую проволоку, в конечном итоге, все тот же человек развязывал бойню, именно в бессмысленности своей казавшуюся многим столь трагичной.

Переживания культурного кризиса, краха всех ценностей в ряду расхожих признаков интеллектуальных настроений послевоенной Европы скрывали очередную их переоценку, очередную ревизию традиций. Скомпрометированные устои и смыслы жизни по завершению военных действий нуждались в поддержке и поддерживала их, кроме прочего, та же техника. Гаснувшие упования на разумные начала подкреплялись, а то и подменялись технической рациональностью, слабеющая вера в человека все очевиднее апеллировала к результативности его технического праксиса. Сам человек все чаще идентифицировался как существо техническое, а совершенствование техники превращалось в призвание и новый смысл жизни.

Роль техники в Первой мировой войне обнажила ее значимость и зависимость ключевых сфер жизни социума от технического обеспечения. В условиях войны и максимального напряжения государственных ресурсов, стремления найти опору в научно разработанных технологиях социального управления и проектирования выходят на первый план, и полем приложе-

ния тех или иных технологий, все более эффективных, оказывались принципы военных действий, стратегии и тактики, обеспечение фронта, государственной политики в целом и международных отношений. Условия и характер военных действий в очередной раз доказывали, что механизация не ограничивается производством, а захватывает все сферы жизни человека, совершая повсеместное предметное ее опосредование, претендуя на контроль и подчинение новым порядкам в мыслях, эмоциях и отношениях.

Уже в Новое время артефакты со всей очевидностью теснили органику, мускульный труд, умственные усилия заменялись механизмами, а эмоции уступали место формулам и схемам. Первая мировая война придала этому движению дополнительный импульс. Армия полагалась своего рода военной машиной из живых людей. Автоматическое оружие, дальнобойная артиллерия, авиация и моторизированные части заменяли на фронте человека, казавшегося беспомощным и бессильным на фоне «Большой Берты», «Мк-1» или «Адъютанта Венсено». Считали уже не людей, а количество орудий, самолетов и дирижаблей, танковых подразделений и т.д. Не так давно даже при наличии флота, артиллерии, огнестрельного оружия живая сила сохраняла определяющую роль. Первая мировая война в корне меняла расстановку приоритетов, человеческий фактор отходил на второй план и рассматривался подчас в качестве придатка техники. Это далеко не всегда осознавалось тогда, но стало вполне очевидным позже.

Перевооружение меняло стратегию и тактику войск, выдвигало новые требования к человеку: командующему, военному специалисту, солдату, в идеале соответствующему, адекватному новой технике. Сказать определенно – техника ли усиливает естественные возможности человека, либо последний компенсирует ее недостатки, становилось все сложнее. Технизация природы, социума с принудительностью объективного закона влекла за собой техническое преобразование/совершенствование человека, сулившее открытие безграничного диапазона его ресурсов и резервов. Война превращала наметившиеся ранее тенденции в тактику выживания. Казалось, что из ресурсов человеческой природы можно черпать так же смело, как из окружающей среды. Техническая искушенность оборачивалась искушением техникой, венчавшей прежнюю тенденцию механизации человека. В артикулированной ранее связке «орган – орудие» видели уже микросинтез инструмента и психосоматики отдельного человека с пре-

тензиями на ускорение и многообразное преобразование его нервно-психические потенциалов, не только усиление природных возможностей, но и новое психологическое качество, шаг в эволюции психики.

Осознание технико-технологических детерминант подталкивало к актуализации прежде редко формулируемых вопросов: поддается ли технический прогресс управлению и можно ли поставить его на службу социальным проектам как важную и при этом составную часть функционирования больших социально-экономических систем? Или же техника – самостоятельная сила, формирующая общество и человека? И не отменит ли, в конце концов, техника органическую природу и психику *Homo sapiens*? Актуализация подобных тем на фоне растущих сомнений в человеке и его независимости, буквально подводила к иному пониманию техники, преодолевающему довольно узкие границы орудийно-инструменталистских установок. Промышленная прагматика, столь привычная в анализе влияния Первой мировой войны на новое положение техники, оправдана в объяснении дальнейшего роста влияния и преумножения технических наук. Однако она бессильна в выявлении причин ослабления утилитарно-прикладного характера оценки техники и расширительной трактовки ее природы, что теснила прежние константы ее понимания.

Ориентир на преодоление инструменталистских подходов, редуцирующих технику до машинно-механизмного оснащения деятельности, как, впрочем, и восприятие ее в качестве «средства облегчения условий человеческого бытия» (по словам Ф. Бэкона) наметился еще в конце XIX века. Тогда же возрождалась традиция видеть в технике своего рода искусство и сопутствующую совокупность знаний, умений и навыков. Однако именно в послевоенное время отчетливо заявили о себе тенденции к предельному углублению понимания техники, когда она полагалась неким «участием в творении...» (Ф. Дессауер), в котором угадывались черты любой целенаправленной практики и своеобразного типа рациональности, ориентированного на операционизм и инструментализм. Расширенный подход нашел свое выражение в работах самых различных исследователей, распознавших в технике очередного носителя рационального начала в эстафете европейской ментальности.

Расширение понимания техники поддерживалось ликвидацией очередных, в частности, географических границ в ее применении и размахом

технических перспектив. В начале прошлого столетия мир казался открытым и доступным для преобразующей деятельности человека, западного человека, амбиции которого подкреплялись колониальной системой и мировыми рынками, средствами коммуникаций и транспорта, в конце концов, идеологиями с характерными общемировыми претензиями. Еще на заре промышленной революции идеологические основы социально-политического проектирования предлагались под видом универсальных практик и к XX веку они обрели параметры глобального экономического, военно-политического господства, мировых войн и революций. В этом ряду первый в истории военный конфликт, разросшийся до мирового масштаба, силой оружия отстаивал глобализм европейского сознания.

Техника, с поразительной легкостью преодолевавшая природные и географические ограничения, удивлявшая масштабами разрушений и массового поражения, предельно расширяла горизонты технической реальности. Расширение всемерно подтверждалось реалиями политики и экономики, установками научного знания и господствовавшим миропредставлением. В послевоенный период общепланетарные масштабы превратились в расхожие параметры анализа закономерностей и тенденций технико-технологических процессов, полагавшихся универсальными, общезначимыми принципами развития. Выстраивались они на все еще устойчивой парадигме прогресса, обеспечивающей в отвлеченной мысли единство технико-технологического развития.

Пессимизм и упадничество, царившие в послевоенном обществе, отнюдь не поколебали уверенности в том, что техника послужит одним из ключевых моментов социокультурного прогресса. Наоборот, ее значение на фронтах и в тылу воюющих государств с логикой поступательной технизации армии только укрепляли новую веру. Сомневались в социальном прогрессе, и теплящаяся надежда возможности общественного совершенствования во многом опиралась как раз на технико-технологические перспективы. Будущее социального развития пока по-прежнему связывалось с социально-политическими или же экономическими изменениями, но последние уже не мыслились вне соответствующего уровня технического обеспечения. А потому и гармоничное общество оказывалось гарантировано человечеству только уровнем развития техники и технико-технологическими нововведениями, революционизирующими социальную сферу.

Воплотившая в жизнь промышленно-технические чаяния максимальной концентрации, организации и мобилизации, а заодно компрометирующая наличные социально-политические силы Первая мировая война буквально предопределила торжество техницизма. Послевоенный его вариант полагал технико-технологическое развитие исключительно в своем прогрессивном качестве, оправдывая любые технические новации и декларируя исчерпанность социального прогресса, как такового, прогрессом техники. Технические начала, представляющие синонимом эффективности и организации, двигателем всех изменений в обществе и человеке, постепенно превращались в некую самоценность. Тогда как расширение трактовок техники в ее противопоставлении антропогенным началам вело к признанию за ней «автономии развития» как в смысле наличия имманентного эволюционного потенциала и собственной логики трансформаций, так и в смысле независимости от социокультурного контроля и самодостаточности оснований (вплоть до понимания техники в качестве *causa sui*).

Характер совершенствования технических систем все чаще признавался эмерджентным, не испытывающим никакого детерминационного влияния извне, со стороны других социальных феноменов. Напротив, техническое развитие начинает рисоваться финальной детерминантой всех социальных преобразований и культурных модификаций. Так, вера в безусловную благотворность развития техники для человечества оборачивалась верой в определяющий характер ее воздействия, а подчас и в некий технический фатализм, как в случае с такими социологами как А. Гелен и Х. Шельски. Основы технического детерминизма были артикулированы значительно раньше, но именно в послевоенное время они обрели, наконец, отчетливые очертания и ясное концептуальное выражение с представлениями об автономии технической рациональности, ее «трансцендентной» сущности и способности к саморазвитию. Техника все чаще толковалась «судьбой» современного Запада и перед ней исследователи нередко останавливались как перед «последней данностью», послушной лишь своему собственному закону, своей собственной логике, уже не подлежащей анализу [11, с. 12–25]. Задача человека сводилась чуть ли не к тому, чтобы не мешать самореализации принципов технического развития, лежащих в основе технического обновления. Нотки страха перед неизбежностью технологического роста только угадывались и, как правило,

если речь и заходила о «бесконтрольности» развития техники, неотвратимости технического прогресса, то скорее в позитивном ключе и удивлении от той силы, что создал человек или же привел ее в движение.

Логическим продолжением освященного войной техницизма стало оформление технократических теорий на прочной, как никогда, основе индустриализма. Как минимум, растущая техническая оснащенность войск и подстегиваемая войной индустриализация с ростом инновационных секторов экономики обусловили заметное усиление роли инженерных профессий, технического образования, технических наук. Конечно, идеалы технократии так же не были принципиально новы, но никогда прежде не играли существенной роли, тогда как в 20-е годы, охватив значительные круги технических специалистов и представителей иных областей интеллектуального пространства, они обрели свои организационные основы.

Просматривая оценки техники тех лет, когда казалось все, включая мировую военную катастрофу, оправдывало поступательную технизацию, напрашиваются выводы о торжестве постулатов техницизма в самых различных своих формах, порой завуалированных социально-политическими лозунгами и экономическими закономерностями. В технологическом росте открывали лишь возраставшие перспективы развития и многообещающие изменения жизни. Техника и технологии сулили возможности для наращивания производства и удовлетворения материальных нужд в масштабах, каких человечество еще не знало. Складывалась новая система ценностей, оправдывавшая ситуацию, когда технические параметры пронизывали и подчиняли все сферы жизни общества, а его будущее связывалось с перманентным ростом и усовершенствованием технологий. Оформление технократических теорий и популярность техницистских установок только подтверждали смену социокультурных приоритетов с превращением техники в одну из ключевых доминант научного знания и мировосприятия в целом. Западная культура уже признала себя в качестве культуры «технической», что выступало в ряду иных позитивных и основополагающих ее характеристик.

Содержание техники безудержно разрасталось – от орудия к средству, от вещи к мысли, от объекта к самой объективности и далее по пути ее вочеловечивания и наделения морально-этическими чертами. Ф. Дессауер рассматривал технику уже в порядках, схожих с кантовским категори-

ским императивом, полагая ее автономные и преобразующие мир последствия свидетельством того, что та является трансцендентной моральной ценностью. В конечном итоге, немецкий мыслитель переносил концептуальные основы техникознания в область откровенной метафизики. И на этом пути он был далеко не одинок. В том же направлении, но иными дорогами шли М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет и др. Для подобных выводов, для того, чтобы доводы Дессауера, наделявшего технику мистической значимостью и полагавшего ее некоей божественной заповедью, не вызывали недоумения, должны были качественно измениться принципы восприятия. А они на волне признания безусловной благотворности техники действительно преображались, утверждая качественно новый всепоглощающий образ уже целого мира, вполне автономного мира техники и технологий, в котором угадывались основные очертания человеческой культуры и самого человека.

Предостережения и опасения технической экспансии не пробивалась на поверхность послевоенного техникознания, практически не затронутого общим разочарованием и скептицизмом. Это не означает, что предостережения остались в прошлом. Нет. Наоборот, в силу актуализации проблем техники их стало только больше, но они терялись среди панегириков техническому прогрессу, они лишались остроты и резкости в силу усложнения представлений о мире техники и технологий. Сомнения по-прежнему рождала не сама техника, но технический праксис человека и спорадичные опасения дальнейшей эскалации технической реальности формулировались вне прямой связи с войной, столь наглядно раскрывшей свой технический потенциал. Сложившееся положение во многом было обусловлено тем, что критика техники и техногенных реалий (биотехнических, социотехнических) опиралась на прежние парадигмы, выстраивающиеся, с одной стороны, на рудиментах патриархальных и традиционалистских порядков, что со временем только слабели, а с другой, на усиливавшейся романтической традиции.

Под воздействием оформлявшегося нового дискурса техники с расширенным вариантом ее понимания обскурантистский заряд, извечно присутствовавший в ряду мотивов неприятия и отторжения техники, преобразался, прикрываясь критикой технической ментальности. Прямые формы отрицания технического прогресса встречались все реже и на пер-

вый план постепенно выходили темы негативных аспектов технизации социума: обезличивание, формализация и стандартизация отношений, грозившие утратой духовных ценностей, потерей жизненного потенциала в пресыщении и зависимости от мира творений своих. Последние прикрывали извечные националистические, религиозные мотивы осуждения технических оснований новоевропейской культуры, как в случае с такими отечественными авторами, как В. Эрн или Н. Бердяев.

Несколько иной вариант осуждения оказался популярен на Западе. Вспоминается знаменитый певец «заката» Западного мира О. Шпенглер. В его на шумевших пророчествах техника играла далеко не последнюю роль, и как раз техническое «перенасыщение», общий техницизм культуры представал одним из ключевых признаков упадка. Но на фоне привычных традиционалистских инвектив в его доводах уже отчетливо проступали те опасения всепоглощающих технических начал, разрушительного характера технической деятельности и непоправимого вреда природе, что станут столь актуальны спустя несколько десятилетий: «Механизация мира оказывается стадией опаснейшего перенапряжения. Меняется образ земли со всеми ее растениями, животными и людьми. Все органическое подлежит тотальной организации, искусственный мир пронизывает и отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, которая все делает или желает делать, по образу машины» [12, с. 487–488].

Романтическая традиция обрела прочную почву на том же очевидном разногласии технических проблем с господствующей парадигмой прогресса, что часто служило инвективам традиционалистов. Некогда Ж.Ж. Руссо критиковал в своих «Размышлениях о науках и искусствах» (1750) идею просветителей о том, будто научный и технический прогресс автоматически способствует культурному развитию общества, соединяя материальное благосостояние с добродетелью. В XX столетии просветители уступили место техницистам различного сорта, а на роль Руссо претендовали представители философии жизни и экзистенциализма (А. Бергсон, К. Ясперс, Г. Марсель и др.), которые за фасадом прогресса техники и совершенства технологий усматривали притупление и подавление существенных элементов человеческой жизни. В послевоенное время приоритеты романтической критики несколько изменились, она так и оставалась скорее критикой человека и общества, но насквозь технического

общества, пронизанного техникой, что признавалась судьбой человека, причем судьбой, с которой, как известно, не спорят.

Спорной оказывается роль Первой мировой войны и ее влияние на общее понимание техники. Война в известной мере подстегнула становление социокультурной расшифровки техники, которая на первых порах редко выходила за рассуждения «по поводу техники», когда последняя представляла данностью, с которой человек считается и которую он использует. Научно-технический прогресс трактовался без особых опасений за судьбу человека и окружающего мира, поскольку отрицательные воздействия техники якобы устраняются передовым общественным строем. Именно эта взаимосвязь и взаимоподдержка социокультурного и технического развития даровала технике своеобразную непогрешимость. С ослаблением же взаимосвязи слабело и социокультурное оправдание, а утверждение представлений об автономии техники, наличия независимых закономерностей ее развития предвещало превращение в непосредственного виновника чуть ли не всех социальных и экологических недугов.

Иначе говоря, покуда человек представлялся творцом техники, он и был ответственен за все ее изъяны и негативные последствия. Тогда как широкое признание некоей технической реальности, существующей по своим, отличным от известных ранее принципам, превращало технику в непосредственный объект инвектив и нападок. Произойдет это позже, во второй половине XX столетия, когда мир техники и технологий предстанет уже в совершенно ином свете независимости и автономии. Пока даже для Ф. Дессауера, воспевающего «могущество» техники, превосходящее «мощь горных хребтов, рек, ледникового периода или даже планеты», она все же создавалась людьми и от них зависело это могущество. Однако в послевоенном интеллектуальном пространстве на фоне торжества техницизма подтачивались его основы. Развенчание человека и компрометация социальных перспектив лишало алиби и технику, а идеализация технических начал, непомерные, заведомо нереализуемые ожидания и обязательства, возлагаемые на них, артикулировались на основаниях будущей дискредитации технической реальности. Именно в послевоенном дискурсе техники проступают легко узнаваемые нотки страха перед всепроникающей и всепоглощающей ее силой, с ощущением беспомощности в «железных тисках» технического прогресса. Человек прощался с непорочной

техникой и технической добродетелью. Никогда более они не предстанут в столь «чистом» и светлом облике, не замутненном сомнениями и разочарованиями. Пусть не напрямую, но опосредованно, обостряя социокультурный кризис новоевропейского сознания, война приближала ревизию и технической его компоненты. Ведь торжество техницизма обернулось его апогеем в европейской культуре, завершением эпохи радужных и безоблачных технико-технологических перспектив и фантазий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. **Энгельмейер П.К.** Технический итог XIX века. М., 1898.
2. **Энгельмейер П.К.** Философия техники. М., 1912. Вып. 2.
3. **Горохов В.Г.** Техника и культура. Возникновение философии техники и теории технического творчества в России и Германии в конце XIX – начале XX столетия (Сравнительный анализ). М., 2009.
4. **Dessauer F.** Philosophie der Technik: Das Problem der Realisierung. Bonn : F. Cohen, 1928, а также: **Tüchel K.** Die Philosophie der Technik bei Friedrich Dessauer. Ihre Entwicklung, Motive und Grenzen. Fr.am M, Verlag Josef Knecht, 1964. S. 12).
5. **Бердяев Н.А.** Дух и машина // *Бердяев Н.А. Судьба России.* М., 1990.
6. **Кастельс М.** Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
7. **Байов А.** Суворов и будущая война // «Не числом, а умением: Военная система А.В. Суворова» / Сост. А.Е. Савинкин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. – Российский военный сборник, Вып. 18. М., 2001.
8. **Троцкий Л.Д.** Война и техника / Л.Д. Троцкий. Сочинения. Т. IX. М.; Л., 1927.
9. **Степун Ф.А.** Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000; *Read H.* Introduction to The War Diary. Extracts from a Diary // *Read H.* The Contrary Experience. Autobiographies / Foreword by G. Greene. NY., 1973. P. 59–146.
10. **Лопатин Л.М.** Современное значение философских идей кн. С.М. Трубецкого // Вопросы философии и психологии. М., 1916. Кн. 131 (1).
11. **Давыдов Ю.Н.** Индустриальная социология как наука о социальных отношениях крупнопромышленного общества и высокотехнизированного труда // ФРГ глазами западногерманских социологов: Техника – интеллектуалы – культура. М., 1989.
12. **Шпенглер О.** Человек и техника // Культурология XX век: Антология / Перевод, сост. С.Я. Левит; Отв. ред. С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. М., 1995.
13. **Аладышкин И.В.** Война и техническая добродетель // Наука и техника: Вопросы истории и теории. Материалы XXXV междунар. годичной конф. Санкт-Петерб. отд. Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Наука и техника в Первую мировую войну» (24–28 ноября 2014 г.) Вып. XXX. СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2014. – 340 с. ISBN 978-5-906782-04-5